

10

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

ПЕРО



Л. Григорьян

Л. Григорьев

ПЕРО

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

ПЕРО

СТИХИ

P2
Г—83

7—4—2

«СТЕЗЯ БЕЗ ВЫДУМКИ И ФАБУЛЫ»

Первую книгу поэта принято встречать как исповедь. И это понятно: когда в круг наших знакомых приходит новый человек, так и ждем, что он заговорит о себе. Но вот прошла минута, другая, десять, полчаса, и первая беседа близится к концу, а он не спешит, этот человек,— ни похвалиться жизненным успехом, ни пожаловаться на невезение. Нет, пока длится эта встреча, ему, право, не до себя. Слишком много вокруг нас, да и в самих нас, его собеседниках, такого неназванного, непроявленного и в то же время удивительного, манящего будничной красотой,— именно это и захватывало поэта на пути к его первой книге! Оказывается, в самом деле:

Как это нужно — видеть звездопад,
Вдыхать дымок осеннего распада,
Смеяться под дождями до упада
И плакать над листвою невпопад.

Просить у красных кленов огонька,
Распутать тропок медленные петли,
Молить закат густеющий: помедли!
И заклинать сквозные облака.

Забуть об ожидающих в дому,
Заслушаться беззвучным отпеваньем.
Ища всему простейшие названья,
Не находить названья ничему...

О Леониде Григорьяне трудно сказать, как мы обычно говорим об авторе первой книжки стихов: приходит в поэзию. Для него поэзия — не какая-то новая среда обитания, а просто земля, на которой он родился и рос, видя все окружающее таким, каково оно есть, и слыша мир в его естественном, ничем не искаженном звучании. Как удалось ему пронести в себе это первородство сквозь трудное время, выпавшее на долю его поколения, — может быть, дело счастливого случая. Но стихи, соединившие в себе детскую прозрачность и выстраданную глубину, — это уже закономерность. Они не могли не родиться, как бы долго ни пришлось ждать их рождения.

А ждать пришлось долго. Самые «старые» стихи, включенные в эту книгу, написаны всего два с половиной года тому назад. Их автор уже тогда был сложившимся человеком, преподавателем вуза, и это, видимо, находилось в каком-то противоречии с желанием браться за «Перо». Но поэзия взяла верх, и книга родилась. О чем она?

О самом тихом, самом явном —
Забывшим о невнятной ртом.
Сначала о другом, о главном,
А о себе самом — потом.

Так, чтобы горькое столетье,
Насквозь пробитое огнем,
Свести хотя бы в междометье,
Но чтобы все сказалось в нем,

Это — не отвлеченная декларация, а сама суть книги, кодекса чести поэта, творческая программа, которой автор следует во всем. О чем бы ни говорили стихи — о городе или о женщине, о предках или о современниках, о сыновнем горе, о донской природе или о самой поэзии, — обо всем говорится только «забывшим о неправде ртом», причем с такой идейно-эмоциональной насыщенностью, что за точно найденным словом чувствуется дыхание века, его пульс, его напряженный мыслительный процесс. И — самое главное — чувствуется подспудно, не нарочито, не навязчиво. Говорят, этому нельзя научиться. По-моему, можно, И, по-моему, Л. Григорьян учится этому давно у великих поэтов, в которых, полемизируя с известным библейским канонам, он видит «пророков для своего Отечества»:

Они оставались двужилыми,
Вкруг ног обвивались жимолостью.
И пуще всего дорожили
Сладчайшей неотторжимостью.

Они забывали о вечности,
Когда на кострах полыхали,
И горький запах Отечества
Вдыхали, вдыхали, вдыхали...

Вот эту «сладчайшую неотторжимость», высшую духовную причастность к родине и времени, к судьбам своего поколения, к природе, творческому

труду, искусству ставит Л. Григорьян в пример герою своей лирической книги. Такое органичное соприкосновение рядового с из ряда вон выходящим, обыденного с величественным и вечным образует, на мой взгляд, наиболее характерную, отличительную черту лирики Григорьяна. Самим построением первой своей книги поэт как бы постепенно «приручает» наше внимание, чтобы вводить во все более плотные слои поэтической атмосферы. Упоительно-безмятежный первый раздел, этот «привычный мир», в котором, казалось бы, только растворишься — и уже счастлив, незаметно переходит в ироничную, но все еще мягкую тональность «сердца горестных замет», составляющих второй раздел. И отсюда — к суровому мемориалу, к «Реквиему», «Пушкинской тетради», к стихам, порадовавшим многих из нас еще в первой журнальной публикации, наконец, к щемяще-серьезной строке, озаглавившей третий раздел книги. Наступает очередь самого важного — ощутить и осознать свою активную роль в этом непростом «привычном мире», роль творца, преобразователя: «И втайне сушу замыслил...» Задача, легко решаемая поэтами с яркой, широко разветвленной трудовой биографией, представляет для Л. Григорьяна определенную трудность, потому что:

Нет, я не продирался чащами,
Не уплывал в ночную стынь —
Преподавал свою тишайшую
И старомодную латынь.

Стезя без выдумки и фабулы,
Без окровавленных знамен —
Одни фонемы да вокабулы
И согласованность времен.

Одни созвучья, отстраненные
От первосути громовой.
Чубы и челочки, склоненные
Над неподатливой главой...

Вот, казалось бы, и все. «Стезя без выдумки и фабулы» в самом деле предстает небогатой событиями — не заимствовать же их из древних веков, запечатленных латынью в манускриптах, в чеканке по бронзе, в мраморных изваяниях... Но и эта «стезя» современна: перед скромным латинистом совершается, если хотите, актуальнейшее таинство сближения сегодняшних юношей и девушек с изначальными корнями цивилизации, с величием давно минувших эпох:

Хмельное, дерзкое, певучее,
Колдует слово без ключа —
Должно быть, на века раскручена
Та апеннинская праща.

Сердца невидимо связуются,
За выдохом приходит вдох.
И, чуть помедлив, согласуется
Несогласованность эпох...

И веет Время, опаленное
Своей дорогой грозовой,
В чубы и челочки, склоненные
Над неподатливой главой.

Впрочем, это — лишь пример, так сказать, преодоления чисто внешней ограниченности житейской «стези» поэта. Стоит обратиться к таким стихотворениям, как «Пепел», «Колыбель», «Все эти ямы да обочины...», — и мы убеждаемся в том, насколько шире прописных риторических деклараций вот этот, с виду интимно-камерный, диапазон про-

явления души, сизмала настроенной на волну Родины. Строки возникли как непосредственные отклики на позывные этой волны, и память о военном лихолетье, и тяга к земле предков, и любовь к родному языку, и мысли об ответственности перед народом — все это вылилось в нарастающую твердость гражданской поэзии поэта-лирика.

Николай Скребов.

Когда на ветке дрозд поет...



Поэты, мэтры, образцы!
Мир перед вами — что подстрочник.
Вы только чтицы и чтецы
Садов и скважин водосточных.

Умельцы с полем токовать,
Ловить дымок у дымохода
И спозаранку рифмовать
Глухие звуки обихода.

Вам суждена простая честь
Заметить стих в стенном проломе
И, не юродствуя, прочесть
Ночь, шелестящую в соломе.

Пробратся камышом в камыш,
Плыть пароходом, течь рекою...
Как будто вздор? А вот поди ж!
Попробуй повторить такое!

УТРО

Вскочить. И застыть на бегу.
И глянуть, глаза протирая,
На крыши, проулки, сараи,
На улицу в беглом снегу.

На зябких оград частоту,
На рельсы еще не у дела,
На липу невнятную — ту,
Что давеча в стекла глядела.

Но то, что казалось вчера
Незыблемо и суверенно,
Сегодня — как проба пера,
В нестройности легкого крена.

Покуда нашарит нога
Упругую твердь для упора,
Мир медлит войти в берега
И сыплет снежком отговорок.

Плутая, как дети в лесу,
Мы с утром — одно до озноба...
И все — на весу, на весу,
Пока не пробудимся оба.



Когда на ветке дрозд поет,
А даль чудачит и смеется,
И чем щедрее отдает,
Тем вероятней остается.

Когда дрожит листок в горсти,
Весь в убегающих разводах,—
Поди попробуй завести
Речь о белках и углеводах.

О том, что почести горчат,
О том, что годы ох как мчатся!
О дарованьях милых чад,
О злобных кознях домочадцев.

Когда звенит капель в ушах —
Невыполнимое задание:
Радеть с утра о барышах,
Рассевшись нагло в мирозданье.

Сумей одним кивком отвести
Свою блажную незадачу
И видеть мир таким как есть
И значить только то, что значишь.



А иногда дома меняют позы:
Украдкой за ночь сделав полукруг,
Вдруг распахнутся окнами на юг,
Еще слегка белесы от мороза.

И их уже не повернет назад
Обломовская сонная досада.
И трогает усами палисада
Весенняя сумятица фасад.

И ахнет почка. А за ней, за ней
Все лужицы, задворки, подворотни
Задышат беспокойней и сильней,
Зашепчутся ясней и первородней.

И зайчик на заборе промелькнет,
И ляжет на бумагу первострочка.
И женщина под окнами пройдет,
Набухшая и нежная, как почка.



Люблю твои семь пятниц на неделе
И в выходках нелепых не виню.
Но кто же ты, смутьянка, в самом деле?
Ворожея? Стиляжка? Инженю?

Что вертится под шапочкой вальяжной,
Какой в крови гуляет непокой,
Когда вселенной гулкую протяжность
Ты прерываешь вскинутой рукой?

Скажи, откуда ты взялась такая —
Бесстыжая, невинная, ничья?
Беги по миру! Баста. Отпускаю.
Не возвращайся. Бог тебе судья.

И ты бежишь, как футболист по бровке,
И на небо глядишь из-под руки,
И на бегу у будки с газировкой
Отчаянные делаешь глотки.

Надкушенное яблоко бросаешь,
И, сквозь толпу пробившись напролом,
На поручнях трамвайных повисаешь
И тотчас исчезаешь за углом.



Где ты теперь, моя судьба?
В какой тайге? В каких саваннах?
В каких фасонишь сарафанах?
В какие прячешься стога?

В каких компаниях дуришь?
Какие песни затеваешь?
В каких проулочках сбиваешь
Сосульки тоненькие с крыш?

Кому ты фыркаешь в лицо,
Расстроив глупую помолвку?
Как удираешь в самоволку,
Едва накинув пальтецо?..

Так мне и надо. Поделом.
Лети пленительно и слепо,
Мой стриж, прорезавший крылом
Неукоснительное небо!

Как ты свободна и легка,
Как хороша и безучастна!
Моя любовь, моя тоска,
Не прилетай, не приручайся..



О. Т.

Лениво лодка за спиной пасется,
Лениво воздух льется и звенит.
Июльское расплавленное солнце
Лениво забирается в зенит.

Лежим часами, нежась и судача,
Удрав от опостылевшей возни.
Причал с нелепой кличкой Чемордачка
Горячей мордой тычется в ступни.

Качает Время берега и лодку.
Закрой глаза и — оскользайся вниз.
Как древен желтый пласт у подбородка!
Как пахнет жизнью теплый Танаис!



Привычный мир, войди в мои стихи!
Водой из крана весело пролейся,
Работай тяпкой, хлопочи отвесом,
Взметнись столбом! базарной шелухи!

За окнами такая синева,
Так неподдельна лиственная клейкость!..
Беги в пекарню, в очередь, в троллейбус
И собирай простейшие слова.

Вот в домино играют старики,
Вот на столбе беснуется динамик,
Вот бегают девчонки с пацанами
По майским лужам наперегонки.

Вот паренек тачает сапоги,
Вот летний полдень навалился жарко,
Вот стадион, вот пиво, вот байдарка...
Привычный мир, войди в мои стихи!

Пахни бензином в комнату ко мне,
Акациями скверика потрогай.
Молодкой, быстроглазой, босоногой,
Протри стихи, как стекла на окне.



Среди базара, у лотка,
Не видя многолюдья,
Напористого сосунка
Кормила баба грудью.

А он прирос, как черенок,
И впился без послабы.
Был сосунок как сосунок,
А баба — просто баба.

Нет, не мадонна, привалясь,
Сидела средь половы —
Она такого отродясь
Не слыхивала слова.

И недомерок — не Исус,
Блаженный, яснолицый,
А просто дошлый карапуз,
Желающий продлиться.

И люди в сладостном поту
О чуде не вещали
И бабу занятую ту
Совсем не замечали.

Валил хозяйственный народ,
Судачил, огрызался.
Как будто дней круговорот
Их вовсе не касался.

У каждого свои дела,
Заботы и вопросы.
А вечность шла себе и шла,
И не было ей сносу.

И тем была она милей,
Что не просилась в рамку.
Ори, горластый дуралей!
Соси дуреху мамку!

ГОРОЖАНИН

Исчезло обонянье
Из городских кровей,
Должно быть, вместе с няней
В платочке до бровей.

Для горе-домоседа,
Для стража Очага
Не пахнет сеном сено,
Без запаха снега.

Зазнайка и расстрига
Давно стоит на том,
Что рига пахнет книгой,
А заводи — холстом.

Он знает все заранее,
Он задан день за днем,
Пока воспоминанье
Не шевельнется в нем.

Он двери открывает,
Бросается в бега.
Он ноздри раздувает
На реки и стога...

Но как он ни распахнут
Залетным сквозняком,
А март бензином пахнет,
Декабрь — табаком.



О, сумасшедший летний дождик,
Займодавец и должник!
Еще не ясно, кто художник
И кто натура в этот миг.

Он раздражался на мгновенье,
Он возникал из ничего.
Он был моим сердцебиеньем,
А я — внезапностью его.

Он был младенчески нечаян,
Срывал со всех дверей печать.
Он бесновался, расточая
И призывая расточать.

Он заслонял собой полмира,
Переливался через край.
Он мне нашептывал: суфлируй!
Он мне приказывал: играй!

И — все. Ворота заскрипели.
Глядишь, и окна затворим.
Но мы свое сказать успели,
И не однажды повторим.

Сладчайшее из благ земных...

НОЧНОЕ

Ю. Ф.

Как спокойны в конце ноября
Загустевшего неба опара,
Ускользящий свет фонаря
И неясный ледок тротуара.

И задворки с примерзшей лузгой,
И скамейки кораблик точеный —
Весь притихший пейзаж городской,
До рассвета себе посвященный.

Только легонький гул проводов,
Только хлопьев косое паренье.
И молчанье на сотню ладов,
Исключающее повторенья...

На сниженье идут потолки,
И, бессильно столы обнимая,
Пучеглазо молчат чердаки,
И бессонница руки ломает.

И какой-то случайный мотив,
Непонятный и все же прекрасный,
Проявляет ночной негатив
Поутру на бумаге контрастной.

ЭЛЕГИЯ

Как это нужно — видеть звездопад,
Вдыхать дымок осеннего распада,
Смеяться под дождями до упада
И плакать над листвою невпопад.

Просить у красных кленов огонька,
Распутать тропок медленные петли,
Молить закат густеющий: помедли!
И заклинать сквозные облака.

Забуть об ожидающих в дому,
Заслушаться беззвучным отпеваньем.
Ища всему простейшие названья,
Не находить названья ничему.

Увидеть птах неспешный пилотаж,
Пустых аллей резьбу и оторочку.
И тут же разменять за строчкой строчку
На бронзовые ветки — баш на баш.

Всего себя беспечно промотать,
Как эта даль и небеса, и лето.
Слегка переиграв игру пигмента,
Хоть на мгновенье этим лесом стать...

Рыжеющей щетиной зарости,
Освободиться от нелепой спеси.
И, подчинясь закону равновесья,
В осеннюю геральдику войти.



Остановись, мгновенье!..

И вот — мгновение остановилось,
Как мудрый старец возжелал тогда.
Капризу мимолетному на милость
Остановилось. Раз и навсегда.

Да-да! И это был не полустанок,
Где отдохнут и собираться станут.
Не пустенькая шутка на пари
И не игра бездельников в замри.

По мановенью бога или черта
Все замерло бездарным натюрмортом,
Утратив разом запахи и вкус,
Биенье сердца и телесный груз.

Подняв копыта, цепенеют кони.
Висят дожди. Дома, как на картоне.
Деревьев неуклюжее литье
Накренилось, впадая в забытье.

Затих карась в затоне, как на блюде.
Застряло на асфальте колесо.
В неловких позах цепенеют люди,
Как манекены у мадам Тюссо.

Все просится в музеи, в медальоны.
Обледенели стрелки на часах.
Как чучела, маячат почтальоны
С конвертами в ненужных адресах.

На берегу купальщицы нагие
Застыли, как на дьявольском смотру,
В чудовищно нелепой летаргии
Без шансов пробудиться поутру.

Как ни ищи веселые приметы,
Уже не лето, а сплошная Лета.
Угрюмое молчанье похорон.
И постовой с дубинкой — как Харон.

Не плачут плаксы, не орут горланы.
Холодный диск прикноплен в облаках.
Раскопанный из пепла Геркуланум
И тот живее был в живых руках.

Хотя бы крик, хотя бы запах сена,
Хотя бы визг напильников и пил!
Чудак, заклявший завтрашнюю
тленность,
Ты мир уже сегодня умертвил.

Как он померк, беспомощен, безгрешен,
Как нестерпима мертвенная тишь!
Вон у колодца маленькая Гретхен —
Да как ее от прочих отличишь?

Ты эти звезды превратил в стеклярус,
Ты обманулся, предал, проглядел..
Как, разве ты не этого хотел,
Подслеповатый, тугоухий Фауст?

ИЗ ПОВЕСТИ

I

Сначала шли классические прятки, —
Букеты, письма, взгляды наповал.
Покуда тополь, как по разнарядке,
Для них листы неспешно обрывал.

Покуда звезды тлели и покуда
Свистало в трубах и снега мело
И грешное загадочное чудо,
Робея, озарялось и росло...

Весна уже охлестывала пену
С оттаявших домов, и все видней
Была осточертевшая степенность
Овеянных веками степеней.

Обрывки речи корчились в падучей,
Все прахом шло, и где-то к сентябрю
Изнеможенье, выучка и случай
Вдруг подвели обоих к алтарю...

Был ритуал до крайности затаскан —
Тугие кресла, шар над головой.
Зато огласка, милая огласка —
Ну как же обойтись без таковой!

Как вдруг — свело протянутые руки,
Свидетели застыли по бокам.
И чудачки в курьезном перепуге
Потупились, как должно чудакам.

На них глядели загговские дамы,
Ослабив полусъеденный кармин.
И над совместным горестным «Куда мы?»
Гремело величальное «Аминь!..»

2

...Завещанное предками клише
Сперва держалось выдумкой вчерашней
И обживало парадиз шалашный
В своем аду на пятом этаже.

А там уже столикая возня —
Жгла корабли, срывала эполеты,
Кричала, распалясь: «Да ты ли это?
Изыди! Сгинь! Рассыпья! Чур меня...»

Но тут же, отбомбившись тяжело,
Все обретало выдержку и смелость.
И, претерпев, в итоге притерпелось,
Хотя слюбиться так и не смогло.

Привычкой образумленная злость
Завязывала муторные связи.
И за расшитой хитроумной вязью
С трудом дышалось да легко лгалось.

Вертелся дошлый день, как заводной, —
Рвались петарды, фыркали шутихи..

И оба лепетали: Чем не выход?
А коли нет, то чем не выходной?

Был судный день на после отнесен
Стараньями вина и нембутала.
Но все-таки чего-то не хватало
И что-то было лишнее во всем.

Как будто у молвы на поводе,
За спинами у них, как за экраном,
Дублер с дублершей с шиком
иностранным
Кудахтали, с губами не в ладу.

Гримаса продиралась через крем,
Кричала криком, бредила запоем.
И отступал бессильно перед горем
Натужно веселящийся гарем.

И таяла решимость на глазах,
Как школьник, трепеща перед укором.
И светское страшилище Декорум
До сумерек стояло на часах...

Да что Декорум!— На какой-то ляд,
Когда соседи к ночи расходились,
Они благовоспитанно садились
И мирно пили чай, потупя взгляд.

И продолжалась скучная игра:
Они под краном лица освежали,
К постели шли и страсть изображали
И тотчас умирали до утра...

Светает. Пора откреститься от свиты.
 Поставить душе сумасбродство на вид.
 Они все такие ж. Но биты. Но квиты.
 Терновым возмездием лоб их повит.

Бледнеют извне занесенные меры,
 И все принимает житейский размер.
 И наша чета — не зверьки за вольером,
 Глядящие в лес, чтобы с места—в карьер.

Тут чудом не пахло. Но возраст, как
ментор,
 Их, бережно пестуя, не теребил.
 Под белые руки тянул к хеппи-энду,
 Легонько строгая, где прежде рубил.

Итоги их бед понемногу итожа,
 Сводя под сурдинку с концами концы,
 Он как-то воскликнул с улыбочкой:
«Боже!
 Вы стали похожи — совсем близнецы.

Взгляните окрест, суматошные сони,
 Убившие годы друг другу назло.
 Вы съели с избытком положенной соли,
 И больше чем нужно воды утекло...»

Глаза приоткрывши, они наблюдали
 Не так чтобы прямо, не то чтобы вкось

И губы в непрочной надежде шептали
Уже не «аминь», но пока что «авось».

Еще бредила вторая натура.
В углу, как лампадка, коптил ночничок.
А утро сулило. Но это — футурум.
Потом разберемся. Пока что — молчок.



Пишу стихи на дочкиной тетрадке.
Тут человечки, солнышко, дома.
Сажаю на бесхитростные грядки
Натужливые взрослые слова.

Пускай они на выгоне пасутся,
Растут ромашкой, ходят по грибы.
Пускай они в домишке приживутся,
Пускай клубятся дымом из трубы.

Пускай забрызжут в линию косую,
Фонариком заблещут на столбе.
Ведь я их никому не адресую —
Пускай гуляют сами по себе.

Пускай плывут корабликом по речке,
Пускай оставят музу на бобах...
И от меня откажутся навечно.
И оживут у дочки на губах.

ДОЧКА ЗАБОЛЕЛА

Не зову я к дочке лекаря,
Потому что знаю сам,
Что растет утенок в лебедя,
Тянет шейку к небесам.

Светит глазками несмелыми,
Непонятными врачам.
Плещет крылышками белыми
Над кроватью по ночам.

Не сыскать ему лечения
Средь утиного двора.
Не дается превращение,
А пора уже, пора.

ШОПЕН, «НОКТЮРН № 8»

Там все так же — и темно,
И лесисто, и покато.
Но давно уже вакантно
И запущено давно.

Нет и тени тех теней,
Что ложились на дорожку.
Только алая сережка
Где-то в грунте меж корней.

Хорошо растет былье
Над травинками сухими,
Повторяющими имя
Чудотворное твое...

Мельтешат издалека
Двое беженцев и леших.
Мы ж остались меж валежин,
Как закладка, — на века.

Оставляют времена
Сеть прожилок и подпалин.
Но стоят мемориально
Ель, безмолвие, луна...

Кто-то ветки отогнет,
Отряхнет сухие комья.
Тихо ахнет, что-то вспомнит
И кого-то помянет.

ПРОСТЫЕ СТРОКИ

Вселяются в мою квартиру,
Идет веселая возня.
Вселяются в мою квартиру,
Где все мое, но нет меня.

Вселяются в мою квартиру,
Заносят стулья и столы.
Прищурясь, словно транспортиром,
Дотошно меряют углы.

Несут замки и гвозди просят,
Чтоб прочно основаться тут.
Хлопочут, спорят, переносят
И пол заботливо метут.

Идет шумливая морока
И старой рухляди разбор.
А на отметине от Блока
Уже повешен Зимний бор.

Какие-то чужие лица —
Мальчишки, дамы, старики.
Бачки, начесы и косицы,
Платки, треухи, башлыки...

Хозяйской поступью ступают,
Срывают старенький настил,
Меня ругательски ругают
За то, что стекла запустил.

На груди хлама рот раззявя,
Пищит веснушчатый малыш:
Да кто же этому хозяин?
И в самом деле, кто он, бишь?

Расспросят скучного соседа;
И скажет, охая, сосед,
Что был покойник непоседа,
Но, как ни странно, домосед.

Был глуповат, драчлив и весел,
К тому ж в стихах собаку съел.
Горланил, пил и куролесил,
И всем порядком надоел...

Нет, я не плачу об уроне,
И легок мой прощальный лет,
Пока надежда-чичероне
Меня в безбрежности ведет.

Нет, я не думаю о чуде
И не ищу чужой вины.
Живите, люди! Мир вам, люди!
Вы ничего мне не должны.

Я — здесь, застыл у изголовья,
Не отлучаюсь ни на миг,
Чтоб передать вам чувство кровли —
Сладчайшее из благ земных.

Веселый шарик на печальном шаре...



Вот бегают дворовый мальчик...

И снова стекла в купоросе,
А за стеной знакомый гуд.
И снова шустрые полозья
Куда-то в прошлое бегут...

Слетаю яростно с приступок —
В мороз, в сумятицу, в огни.
И все по-прежнему доступно —
Вот только руку протяни...

Все откровенно, без утайки
И не ушло ни на вершок.
И у забора та же Танька
Никак не вылепит снежок.

И тот же гул, и драка та же,
И то же ломкое белье,
И те же кумушки на страже.
И все по-прежнему — мое.

Опять ватага куролесит,
И снег за шиворот сквозит.
И мама, из окошка свесясь,
Мне пальцем ласково грозит...

Назад! Назад во все лопатки,
Покуда не заволокло.
Пока еще живые прядки
Там, наверху, не замело...

Застыв глазами на сугробе,
Игра забыла об игре.
Как нынче тает во дворе,
На крышах, в лунках, между
ребер!

Как плещет в комнату мою
Той изначальной детской ранью.
И застывает на краю —
У воскрешения на грани.

РЕКВИЕМ

Ночью, в декабре 64-го, в полупустом трамвае, я увидел глаза моей мамы на чужом равнодушном лице. И это подступило снова...

Я не помню глаза твои плачущими,
От людей себя в сторону прячущими,
Подводящими хмуро убыточки —
Подходи, забирай все до ниточки.
Из огня мы привыкли да в полымя,
Не рубцуются ноженьки голые.
Не уступим для рая и вечности
Ни крупичицы своей человечности...

Тоже полночь. Тоже снег.
И полчаса до исхода.
Несет запорошенный человек
Подушки с кислородом.
Бредет по проулкам — то вверх, то вниз.
У старых афиш маячит.
И, увидав смазливых девиц,
Подушки за спину прячет.

Идет. Не спасает его броня,
Худая для этого дня.
И шепчет: «Только бы без меня,
Только бы без меня».
И все непостижно его уму,
Обыденно, страшно и просто.
И полкилометра до дома ему
И полчаса до сиротства...

И вот — стою с поникшей головою,
Край одеяла слепо теребя.
А ты мне говоришь: живым — живое.
Забудь меня. Не забывай себя.

Помню, мама, как тебя обмывали,
Как платками зеркала покрывали,
Как тебя в холодный лоб целовали,
Как глаза твои навек закрывали.
Ты лежала, отрешенная, дальняя,
Как младенец, бесплотная, маленькая.
Остывала от смертной агонии
На столе, как на господней ладони.
И стенанья, пустые, облыжные,
Отвергала восковая рука.
И головка твоя остриженная,
Совсем как у призывника...

Мама, мама, куда тебя призывали?

Я ходил к тебе в гости по четвергам,
На землицу твою припухшую.
Я цветы желтоватые клал к ногам
И прислушивался...
Затухающим пульсом слегка прознобя,
Замирало все в каталепсии.

Я от всех и всего отключал себя,
Отрывал, как вилку от штепселя.
Никого вблизи, ничего вдали.
Как светло в твоём запустении.
Полтора аршина сухой земли —
Пустяковое средостение.

Забываю. И все-таки помню,
Как по гробу били мерзлые комья,
Как неспешно его забивали,
На веревках опускали, зарывали.
Как по кладбищу хлопя метались,
Как соседки причитали, шептались:
«Чай, с полгорода родных да знакомых.
А веночков-то! Видать, от месткома».

Я к тебе давно уже не хожу,
Дверцу в домик твой не отворяю.
Я все реже тужу, все труднее тужу —
Забываю.

И вот — глаза на чужом лице.
Твои глаза на чужом лице.
Твои на чужом —
Как по сердцу ножом!..

Я с тобой говорю
У ограды уже полуржавой.
Я с тобой говорю,
Над листвой наклонившись лежалой.
Я с тобой говорю —
Как в глубокий колодец смотрю. •
Я с тобой говорю.

Дай мне, мама, твое бескорыстие.
Взгляд твой карий — последняя истина.

Я храню его, как реликвию,
И не верю в иную религию.
Дай мне, мама, твою доброту,
Распрямившую все прямоту.
Ты такие кресты носила,
Что Христу самому не под силу.
Ты была у меня — спасибо!
Ты взглянула сейчас — спасибо!



В. С.

Но что же все-таки мы значим,
Когда нехстати и не впрок
На себялюбие батрачим
И зависти несем оброк?

Когда, тщеславьем полыхая,
Бежим от прямоты в кусты
И лихо корни извлекаем
Из неделимой простоты?

Нам проще охать у божницы,
Копаться в стынувшей золе,
Но только бы не очутиться
На отрезвляющем нуле...

А за окном светло и чисто
Шумят дожди, растет трава.
И разве страшно стать статистом,
Как облака и дерева?

И, не заботясь о преданье,
Войти народом в свой народ,
Влететь крупинкой в мирозданье
И капелькой в круговорот.



Нет пророка в своем отечестве...

Твердит суровые строки
Из века в век человечество.
И все же поэты — пророки
Для своего Отечества.

Пускай оно рявкало строго,
Пускай озирало зло,
Мытарило по острогам
И головы им секло,

Плевало на них, как на шатию,
Клеймило, крестило, иначе.
Сначала голубило матью,
Потом прогоняло мачехой.

Не ставило ни в полушку,
Корило крохами горькими,—
Они ж оставались Пушкиными,
Байронами, Лорками...

Они оставались двужилыми,
Вкруг ног обвивались жимолостью.
И пуще всего дорожили
Сладчайшей неотторжимостью.

Они забывали о вечности,
Когда на кострах полыхали,
И горький запах Отечества
Вдыхали, вдыхали, вдыхали...

ИЗ «ПУШКИНСКОЙ ТЕТРАДИ»

I

Покой и воля. Воля и покой,
Две радости горчайшие, от коих
Шагнуть легонько и — подать рукой
До самого последнего покоя.

Все разрешивши, не перерешать,
Среди теней развоплотиться тенью,
Под шорох сосен душу утишать,
Как колыбельной, главами Монтеня.

Покой и воля. Воля и покой,
Забывший про обеты и оброки...
И все же разрыдаться над строкой.
И перелить ее в другие строки.

Обнять бродягу друга у крыльца,
Взглянуть в глаза, где воля запропала.
И этому не видимо конца.
Как ты удачлив, правнук ганнибалов!

Покой и воля. Воля и покой,
Который не прославить, не ославить...
И все же — холодеющей рукой
На проходимца пистолет направить.

А где-то возжеленное жильё.
Без мятежей, без горестей, без боли.
Покой и воля... Каждому — свое.
Твоей судьбы уже не приневолить.

2

Не любят поэтов поэты,
Не любят до боли в висках.
Считают в карманах монеты
И листья в лавровых венках.

И нет им милее потехи,
Листая ревниво стихи,
Искать у собратьев огрехи
И злобно итожить грехи.

Не любят поэтов поэты,
Грустят в папиросном чаду.
Должно быть, написано это
От века у них на роду.

Не любят далеких и близких.
И всех особливей Того...
Не любит его Баратынский,
Языков не любит его.

А он их радушно встречает,
Не держит на памяти зла.
Хотя про себя примечает,
Что пахнет хулой похвала.

А он их грехов не итожит,
Не ищет поспешной строки.

Была б только искорка божья!
А прочее — гиль, пустяки.

Не любят поэтов поэты —
Должно, развелось через край.
У каждого в доме секреты,
А он нараспах — обирай!

Он всех их собрал в одночасье —
Попробуй к нему не прийти!
Не тесно ему на Парнасе,
А пусто — шаром покати.

3

А я давненько был влеком,
Хоть и скрывался, привирая,
Бедовым южным говорком,
Соленым почвенным райком,
Которым души отпирают.

Которым милую зовут
И разрешают все раздоры.
С которым вовсе не слывут,
А просто-напросто живут
И умирать идут с которым.

Который — пеной по усам,
А не дается чахлой лире.
Который сам большой. И сам
Великих обучал азам
У тех прославленных просвирен.

Который счета не ведет
И не сдается на постои.
Который сам тебя найдет
И, коль заслужишь, — удостоит.



Стихи умнее своего творца
И не похожи на него нимало.
Им все одно — хвалебные хоралы
И сплетни домоседов у крыльца.

Их не страшит забвение веков:
Они живут — смеются или плачут.
И не стыдятся вмятин и сучков.
И пятен незакрашенных не прячут.



А рядом с кладбищем бушует стадион.
Вопит, как расшалившийся повеса.
Каким-то чудачком построен он
Под самым боком. Для противовеса.
Здесь голос плит печален и горяч,
И каждый куст, склонясь, беззвучно
плачет,

Пока перемахнувший стену мяч
Меж холмиков с крестами не проскачет.
Назад, глупеньш! Ты сошел с ума!
И кто решился допустить такое?!
Но скачет он, как молодость сама,
Над башнями последнего покоя.
Подкошенные гибелью года
Глядят на пришлеца со странным чувством:
Что привело бездельника сюда —
Неведение? презрение? кощунство?
А он метнулся к изгороди вдруг
И баночку с гвоздиками — в осколки.
И лихо выбил медяки из рук
Оторопевшей ветхой богомолки.
Так и удрал. И не догнать его.
Ему вослед травинки продрожали.
А он и не заметил ничего —
Веселый шарик на печальном шаре.

И втайне сушу замышляя...



Все признаки с меня, все меты...

Марина Цветаева

Я не вел отродясь дневника,
Прикрываясь привычкой и ленью.
Но, наверное, с детства рука
Приучала себя к прогивленью.

Противлению — жить вдругорядь
И давать искустительный повод
Раболепно судьбу повторять
Повтореньем ходов дневниковых.

Не писать! Не держать в голове!
Пусть не топлено, горько, несыто!
Каждый миг забывал о родстве
С оголтелостью блудного сына.

И — добился. Ничейный. Никто.
Уберег от бывшего угодник.
Ни кола, ни двора. Но зато —
Ни крупницы снегов прошлогодних.

Что-то теплится там, вдалеке,
Старомодно зовется душою...
Хорошо ли тебе налегке?
На беспамятстве том хорошо ли?



Спасибо, милое Перо,
За то, что в дни сомнений черных
Ты, как всегда, уберегло
Меня от глупостей повторных.

Спасибо, милое Перо,
За счастье начинать сначала.
За то, что веровать в добро
Ты неприметно обучало.

За то, что была толкотня
Не замутила высших истин.
За то, что ты честней меня,
Свободней, суше, бескорыстней...

Плывут над летом облака,
Журчит ручей по дну оврага —
Там, где кончается рука
И начинается бумага.

КОЛЫБЕЛЬ

В Армении я не был никогда,
Не видел на тропе отар овечьих.
Гремучий кипяток армянской речи
Не обжигал отрекшегося рта.

Мой прадед в этом городе осел,
Перебродив, как варево хмельное.
Обкатывался, старился, русел
И понемногу становился мною.

И я по древним звездам не тужу,
Не мучусь о взметнувшемся
пространстве.

И девушкам медлительным славянским
В глаза светло-зеленые гляжу.

Но отчего к моим ушам, вискам
Вдруг подступает этот странный ропот
И горных рек дикарские синкопы,
И дальних гор пронзительный чекан?

И кто мне растолкует, почему
Приросшее к степной земле становье
Мне кажется придуманным присловьем
К селенью ноздреватому тому?

И выжженный библейский материк
Овладевает, кличет, плодоносит...
И руки загорелые подносит
К моим губам воскресшая майрик*.

* М а й р и к — по-армянски мама.



Я протяну к тебе ладони
Через вечернюю зарю.
Заговорю не в пышном тоне,
А просто так заговорю.

О том далеком, том осеннем
Среди обветренных осин.
О том, что ты была спасеньем
Средь оседающих трясин.

О той нелепице вначале,
О том, как ты была права.
О том, как мы не замечали,
Что облетают деревья.

О той причудливой погоде —
О солнце с ливнем вперемет.
О том, что многое проходит
И только это не пройдет.

О том, что на границе слуха
Тот день в далеком сентябре
Звонит, как муха-цокотуха
В полупогасшем фонаре.



Сентиментальность — властелин,
Презревший времена и моды.
Хоть и смешит, как кринолин
Из допотопного комода.

Мы в дверь ее — она в окно,
Сочится на уклад и климат.
И, как родимое пятно, —
Невинна и невыводима...

Смывая заливчатский грим
И возвращая боль и робость,
Она прапращурам моим
Перекрестила низколобость.

Благовестя в колокола
Над скопом зависти и денег,
Она навеки подняла
Моих потомков с четверенок.

Сентиментальность — соль земли,
Презревшая плевки и сплетни.
Какие гены занесли
Ее в двадцатое столетье?

Дрожит, как зайчик на стене,
Слегка заплесневшей... Откуда
Ты зябко теплишься во мне,
О, бескорыстнейшее чудо?

Не захотевшее вещать,
Беднейшее — хоть общите...
Куда уж нищей защищать —
Сама нуждается в защите.

Но мы — как воск в ее руках.
И уж не рядим и не судим,
Когда раскованное «ах!»
Рыданьем вырвется из сути.

И снова милы мир и дом.
И Пушкин пушкински пленяет.
И бледно-розовым листом
Наотмашь осень осеняет.



Нет, я не продирался чащами,
Не уплывал в ночную стынь —
Преподавал свою тишайшую
И старомодную латынь.

Стезя без выдумки и фабулы,
Без окровавленных знамен —
Одни фонемы да вокабулы
И согласованность времен.

Одни созвучья, отстраненные
От первосути громовой.
Чубы и челочки, склоненные
Над неподатливой главой.

Какая горькая идиллия! —
Когда мне бедовать пришлось,
Дыханье жаркое Вергилия
Уже навечно осеклось.

И, протрубив рожками сиплыми
И скакунами пропыля,
Ушли когорты и манипулы
На Елисейские поля.

Ушли трибуны, за которыми
В раскатах горловых стволов
Плебеи на гремучих форумах
Имперских потрясли орлов.

И, как ни погружайся в выдумки,
И ни ищи огня в пыли,
А те прославленные римлянки,
Кивнув столетиям, ушли.

И ливни размывают здания,
И строят новое века...
Но не сдается рокотание
Загубленного языка.

Хмельное, дерзкое, певучее,
Колдует слово без ключа —
Должно быть, на века раскручена
Та апеннинская праща.

Сердца невидимо связуются,
За выдохом приходит вдох.
И, чуть помедлив, согласуется
Несогласованность эпох...

И веет Время, опаленное
Своей дорогой грозовой,
В чубы и челочки, склоненные
Над неподатливой главой.



Земля же была безвидна и пуста
и Дух над бездною...

Из Книги Бытия.

Я в детстве ненавидел море,
Хоть заставлял себя ступать
В его зловещее узорье,
В его предательскую падь.

Я не любил его капризы
И замирал, как пред бедой,
Над непонятной, древней, сизой,
Заворожающей водой.

Я не любил его гуденья,
Его непрочности сквозной.
И многократно в сновиденьях
Оно смыкалось надо мной.

Я повисал во мгле отвесной,
Кого-то молча умолял...
И вдруг — парил, как Дух, над бездной,
И втайне сушу замышлял.

ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Не предавай! — горит светлее света
Над всеми перепутьями пути.
Не предавай! — хоть заповеди этой
Он так и не успел произнести.

Не предавай! — ведь как светло и просто
И как неразлично впопыхах.
И вот — дрожит наследник и апостол,
Отрекшийся при третьих петухах...

Не предавай ни выживших, ни павших
Ни в страхе, ни в тоске, ни во хмелю.
Не предавай, блудливо прошептавши:
Сегодня так, а завтра искуплю.

Не предавай ни яростной охулке,
Ни бьющей в барабаны похвале.
Ни женщине. Ни царствию. Ни булке.
Не то не утвердиться на Земле.

ПЕШЕЛ

Из глубины порыжевших пластов,
Напрочь убитых и скованных наледью,
Не позабытый, не преданный памятью
В окна мои наползает Ростов.

Напоминает небом в огне,
Нетопырем по убежищам тычется,
Обозначается бредом готическим
На свежевывкрашенной стене.

П пульсом прерывистым бьется в стихе,
Давит на плечи свинцово и каменно,
Пахнет войной и подолом маминым,
По уши в порохе и шелухе...

Значит, не время застольных бесед,
Если — щекою к дымящейся родине —
Руки раскинул убитый сосед,
Незахороненный, незахороненный...

Память окрасила красным траву,
Что-то расквасила, что-то обуглила.
Значит, загубленное не загублено,
Значит, осталось, покуда живу.



Сокровища родного языка —
Его обвалы, вспышки и ферматы
Я постигал. Хоть не постиг пока,
А только трогал с дрожью нумизмата.

Глядел в него, как смотрят в водоем.
До обморока — будто свесясь в кратер
Загадочно пробившимся чутьем
Перебирал песчинки, как старатель.

Молитвенно зеницы заводил,
Снискавши славу дурня и юрода.
И все-таки повсюду находил
Одну золотоносную породу...

Он плыл над миром, крылья распластав,
Шептал над люлькой и ломился в
Историей замешанный состав
На чистой крови, без пустот и лимфы.

Он не умел стоять на якорях —
Дождил дождями, колосился в поле.
И даже заточенный в словарях,
Он был на воле и кричал о воле.

Я слушаю — о, только не молчи!
Свети в своем негаснущем восходе!
Влеки меня. И пестуй. И учи
Своей стихии. Разуму. Свободе.



Все эти ямы да обочины
И даль из выцветшего ситца
И есть, должно быть, наши вотчины.
Не надо этого стыдиться.

Всех этих тропок колобродие,
Где мы блукали молодыми,
И есть наследные угодия.
И нам пора заняться ими.

Мы тут осмыслились и выросли
И в каждой капле отражались.
Все наши выверты и вирусы
По недогляду задержались.

Склонись, гордец, над каждой ямочкой,
Над каждой вмятиной случайной.
Над каждой травкой-россияночкой,
Такой дрожащей и начальной.

Твой дом с прогорклыми закутами
К тебе протягивает жмени.
И каждый путник перепутанный —
Твой затаенный соплеменник.

Пора почуять силу тяжести,
А не порхать безродной птахой.
Пускай концы еще не вяжутся —
Так ведь не все единым махом.

Звезда в неверном колыпании
Не та, что полыхала в детстве.
Так разожги ее дыханием,
Не помышляя о судеистве.



О самом тайном, самом явном —
Забывшим о неправде ртом.
Сначала о другом — о главном,
А о себе самом — потом.

Так, чтобы горькое столетье,
Насквозь пробитое огнем,
Вместить хотя бы в междометье.
Но чтобы все сказалось в нем.

Все, что ушло ни за копейку,
Все, что осталось на века.
Жест полководца, слезы швейки,
Храп скакуна, хрип седока.

Ночной покой Земли тревожен,
Непрочно теплое жилье.
И ты навек рукоположен
Быть малым голосом ее.

СОДЕРЖАНИЕ

«Стезя без выдумки и фабулы». Николай Скребов	3
Когда на ветке дрозд поет...	9
«Поэты, мэтры, образцы!..»	11
Утро	12
«Когда на ветке дрозд поет...»	13
«А иногда дома меняют позы...»	14
«Каким неведомым богам...»	15
«Люблю твои семь пятниц на неделе...»	16
«Где ты теперь, моя судьба?..»	17
«Лениво лодка за спиной пасется...»	18
«Привычный мир, войди в мои стихи!..»	19
«Среди базара, у лотка...»	20
Горожанин	22
«О, сумасшедший летний дождик...»	24
Сладчайшее из благ земных...	25
Ночное	27
Элегия	28
«И вот — мгновение остановилось...»	30
Из повести	32
«Пишу стихи на дочкиной тетрадке...»	37
Дочка заболела	38
Шопен, «Ноктюрн № 8»	39
Простые строки	41
Веселый шарик на печальном шаре...	43
«И снова стекла в купоросе...»	45

Реквием	47
«Но что же все-таки мы значим»	51
«Твердит суровые строки...»	52
Из «Пушкинской тетради»	54
«Стихи умнее своего творца...»	57
И втайне сушу замышлял...	59
«Я не вел отродясь дневника...»	61
«Спасибо, милое Перо...»	62
Колыбель	63
«Я протяну к тебе ладони...»	65
«Сентиментальность — властелин...»	66
«Нет, я не продирался чащами...»	68
«Я в детстве ненавидел море...»	70
Одиннадцатая заповедь	71
Пепел	72
«Сокровища родного языка...»	73
«Все эти ямы да обочины...»	75
«О самом тайном, самом явном...»	77

ГРИГОРЬЯН Леонид Григорьевич

П Е Р О

Редактор **Н. Х. Бабахова**
Оформление **Э. С. Бобрешова**
Художественный редактор **З. А. Лазаревич**
Технический редактор **Л. М. Криволапова**
Корректор **Е. Г. Харченко**



Изд. № 66/11702. Сдано в набор 31-V 1968 г.
Подписано к печати 25-IX 1968 г. Формат 70X90/32.
Бумага тип. № 1. Объем 2,5 физ. п. л., 2,92 усл.
п. л., 1,85 уч.-изд. л. Тираж 10000. ПИК 30001.
Ростовское книжное издательство
Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., 23
Типография им. Калинина Областного
управления по печати в г. Ростове-на-Дону,
1-я Советская, 57. Заказ № 153. Цена 23 коп.